

какъ другія лица его: примѣшавшееся сюда «отвлеченное», субъективное и личное—мѣшаютъ этой типичности, и при всей, можетъ быть, правдивости и психологической вѣрности изображенія происходящаго внутри ихъ сокровеннаго процесса, они все таки—лица отвлеченныя, идеальныя, такъ какъ въ объективной жизни, *видимаго* нами все таки ничего подобнаго намъ не встрѣчалось.

Надѣляя своихъ героевъ идеальными чертами того нравственнаго совершенства, на стремленіи къ которому застала автора та или другая стадія его собственнаго развитія, гр. Толстой, какъ и Гоголь, просто *объективируютъ*, если можно такъ выразиться, собственный моментъ этого развитія и источникомъ этого объективирования является смѣшеніе, неточное разграниченіе эстетическихъ началъ своей художественной дѣятельности отъ этическихъ своей нравственной,—смѣшеніе, обусловливаемое, какъ мы видѣли, запоздалостью проснувшихся въ художникѣ потребностей его нравственнаго самоопредѣленія. И въ сознаніи этого недостатка самоопредѣленія, какъ увидимъ, заключенъ былъ источникъ всѣхъ перипетій душевной драмы въ гр. Толстомъ, приведшихъ его къ отрицанію, сначала, своей собственной эстетической дѣятельности во всемъ ея прошломъ, а затѣмъ и всего искусства, какъ «баловства»... Подчеркивая то обстоятельство въ своей «Исповѣди», что онъ всегда *училъ* «самъ не зная чему», гр. Толстой каждый разъ подчеркиваетъ именно это сознание противорѣчія между «учительствомъ» своего таланта и своимъ исключительно эстетическимъ на него возрѣніемъ, его «прислуживающимъ» значеніемъ,—противорѣчіе, въ которое онъ сталъ отчасти самъ, отчасти, вѣроятно, поставилъ его слишкомъ, можетъ быть, эстетическій характеръ даннаго ему сословнаго воспитанія, отчасти бросила и поддерживала постоянно критика («писа-